

ЛИШАЙ

ИЛИ

ПРОКУРОР

ЛИШАЙ, ИЛИ ПРОКУРОР

РАССКАЗ

В комнате находился отставной прокурор, отдыхающий после уборки своего дома. Веник стоял аккуратно в углу, а вещи, прежде скомканные бумагой, расположились им стопочками по полкам. Руки прокурора были шершавы и болели от старости, поэтому он не прилагал тех усилий, которые прилагают мужчины моложавей его. Кошек не было дома, так как они гадили, и жалюзи он снял, так как не поступало в период их присутствия нужных витаминов. Он был каким-то гностическим, хотя сформулировал: «Загвоздка в том, что я не пытаюсь исследовать людей». Он считал закономерностью и несправедливость суда, и отречение от неверия (юношеское, не идущее ортодоксально воспитанием), и связь между писателем и самоубийством Чхартишвили.

В моменты единоличной близости прокурор читал труды досократиков. Ствол его мозга была развитым, и те, кому доводилось встречать прокурора на работе, говорили о каком-то образе: в его случае образ выступал психологическим наполнителем, стоящим ниже новой коры.

Он переставил веник, его белёсые волосы взмокли от пота. Опрокинув стакан водки, прокурор оделся и направился по С—у мосту к своей приятельнице, нанимавшей квартиру ценою своего тела. Такое откровение помешало прокурору легкомысленно входить в половые связи с теми девушками, в чьих глазах больше не читается ничего, кроме последовательного выгорания, которое она вынуждена нести в дом; не столько откровение, сколько чеховская шутка. Его жизнь, думает он по пути к приятельнице, не лишена бессмыслия, жгучего, как выпитая им водка. Когда прокурору было восемь, вещи казались ему недосягаемыми, как, например, женщина и алкоголь. Сейчас, выросший и отработавший, он относился к ним с горьким предубеждением, ведь оба — женщина и алкоголь — первое, что вообще требует быть в раннем возрасте. В девять лет он увидел без верха пьяную мать, которой было всё равно на смущение. Маленький прокурор просил надеть бюстгальтер обратно, не улыбался, говоря это, и не плакал. По трезвости мать не могла вспомнить, или боялась, а прокурор обнаружил запретную женскую грудь до того, как это стало его желанием. Это не делало её похабной, скорее животновидной, угнетённой алкоголем. Она пила не так много, чтобы прокурор помнил об этом всю жизнь, но достаточно, чтобы он хранил этот след материнской любви, оправдывая её и любя ещё больше, когда думал о каком-то древнем рефлексе поднесения соска к губам ребёнка.

Перед ним остановилась толстая баба с сумкою, у неё горели глаза внутренним беспокойством.

— Куда вы? — спросила она.

— В гости, — ответил прокурор.

— Будет у вас время мне помочь?

Прокурор оглядел реку по правую сторону С—го моста, которую прошёл, и задумался.

— Я иду с вокзала в ужасе. У меня пропал сын!

Баба ахнула и закрыла рот рукой. Она, видимо, и раньше плакала, на щеках румянец.

— Как же я могу? Расскажите...

— Ему одиннадцать годочков, синяя рубашка, синие штаны. Босоножки с носками.

— Где вы его видели?

— Дома!

Женщина заплакала.

— Он был с вами в поезде?

— Не совсем. Я оставила его дома, будто бы подавила наставления своей матери о раннем детородстве. Я почувствовала лёгкость, когда откинула сына от своей юбки.

— Он остался с отцом?

Женщина заплакала пуще.

— О-ох! какой отец? Что вы говорите!

Она вдруг успокоилась и кинула сумку на землю, тотчас полезши в карман ради чего-то. Она вытянула старую фотографию с виньеткой, на которой полусидя, держа свёрток бумаг, изображался её сын. Прокурор отшагнул от взгляда, увиденного там: кровожадность, граничащая с испугом перед фотографом в чёрной мантии, выжигала на лице дыру. Человек, озаглавленный бабой, как дитё, являлся первородным грехом — чревоугодием, толстым и уродливым медведем, наступившим на ухо. Кукольная нескладность мальчика, поза, глаза — всё это отвращало прокурора с каждой секундой.

Его пальцы щёлкнули:

— Я видел.

Женщина же побледнела.

— Где?

— В Стокгольме.

Прокурор приказал: «Берите сумку и идите к арке, я буду стоять там под видом полицмейстера и смотреть на часы». Он бросил косой взгляд за спину уходящей бабе, а сам исчез.

Через пять минут он видел из-за угла, как толстая фигура с сумкой пристально смотрит на полицмейстера, которому страшно.

Прокурор уверенно шагал от места встречи, вспоминая о приятельнице; если судить по проведённому бесполезному времени с бабой, она его заждалась. Он насыщенно представлял двери её дома, закрытые на ключ, и её, лежащую на кровати без движения. Раздастся стук, приятельница встанет и побежит отворить замок. Насколько это правда? Они были знакомы с университета, и прокурору приятельница стала объектом изучения женского тела, абсолютно добровольно, как друзья по факультету: она позволяла не более, чем наблюдаемая пальпация, отвечала на вопросы прямо, не закидывала такие сети, в которые мог бы попасться прокурор.

Он поднялся по ступенькам и постучал. Тут же отвлёкся на солнце и сказал самому себе: «Хорошо».

Приятельница открыла двери, он откланялся и вошёл не раздеваясь. Внутри пахло спёртой пылью, а приятельница, которую было не трудно перепутать с монументом — она одела всё чёрное, — обволакивали редкие клубы невидимого парфюма.

— Ты так стараешься подавить запах плесени? — пошутил прокурор.

Она улыбнулась и ничего не ответила.

— Ты сегодня свобода?

Она остановилась разравнивать скатерть на столе, обернулась медленно, с заботой и, по-прежнему молча, подошла, а её пальчики отодвинули белую, седую прядь прокурора.

Приятельница ахнула:

— У тебя лишай!

Он спохватился, но будто не был удивлён: потрогал язвенный висок, посмотрел на пальцы, как если бы на них что-то осталось.

— Я сегодня не свободна: встреча. Но я могу уделить тебе час.

— Мне нужно больше.

Заметного раздражения она не показала, только глубоко вздохнула (так вздыхают, когда ищут компромисс).

Прокурор согласился и рассказал о тревожащих его проблемах.

— Я несколько напугана. Люди меня корят за мою нечистоплотность, ведь я считаю не нужным мыться чаще, чем раз в четыре дня, а то и пять. Они спрашивают: «Думаешь, ты в порядке?»… Они правы. Проходящим мимо меня людям, наверно, будет неприятно чувствовать запах немытых волос, потной складчатой шеи… запрелого лифа. Но мне истинно казалось, что я не врежу им! Просто есть такая вот девушка, не соблюдающая некоторые нормы.

— Ты стираешься? — спросил прокурор.

Приятельница медлила.

— Нет. Я прихожу домой после работы и снимаю грязные носки, не стираю их, кладу под матрас. На следующее утро я натягиваю их на вонючие ноги. Я слышу при этом запах и противлюсь ему.

Теперь она исподволь взглянула на прокурора, защищаясь жалобными глазами, ибо он был чистоплотнее.

Прокурор кивнул от наставшей паузы.

— Я рада открыться тебе сейчас, и мне плевать на всё. Ещё я не меняю исподнее, просто не могу убедить себя, что это нужно.

— Может, и не нужно. Дело в том, что для тебя означает тело. И согласись: ты хранишь консолидируемое внутри, а не помеж шрамов. — Он нежно, почти с детской боязливостью взял её руку. — Задевая дерму, ты плакала и хотела, чтобы порез склеился.

Шрамам приятельницы было порядком пятнадцати лет.

— Хочешь, я помогу тебе искупаться сегодня?

— Я хочу сама, без помощи. — И, увидев время, кинула уходя: — Пойду.

Прокурор отпустил её, хотя часа не прошло. В доме он остался один на один с биением маятника, а солнечный свет из лоджии выделял кружащуюся пыль. Здесь он погрузился в поверхностный сон: незнакомый атрибут в знакомой обстановке — первое сновидение; и человека, который находился в никотиновой зависимости, — второе сновидение испугало его, так как абстиненция происходила с выраженной ненавистью к окружающему, всё рядом с ним, кроме семьи и друзей, объект улыбчивого презрения. Прокурору снилось, как он что-то говорит ему: наверно, о бесполезности злости, о недоразвитой метакогниции. «Ты же, вроде, психологически подкован, — говорит он, — почему ты позволяешь нервам брать верх над тобой? зачем оскорбляешь меня?» Притом во сне не было лиц, только размытые пустоты, обращённые напротив друг друга. Прокурор был один, и он видел себя со стороны, как при сильной кластерной боли.

Очнувшись ближе к вечеру одетым в постели, прокурор покинул дом и направился в школу.

Она была построена изначально как шахтёрская: недалеко добывали уголь, к школе каждый день подъезжали автобусы с октябрятами. Тогда он активно участвовал в судебных заседаниях по делам врагов народа, следил за репрессиями и лично видел смерть обэриутов.

Недалеко от школы стоял охранник, курящий сигарету. Вид у него был пожёванный: заправленная рубашка выглядывала из-под штанов, пиджак его жена не прогладила утром; такое впечатление, будто одежда в его доме никогда не висит, но лежит в беспорядке. Лоб у него выступал, глаза были маленькими и круглыми, даже выпуклыми, на щеке чётко виднелся шрам от трубочки, через которую его кормили первые месяцы жизни ввиду недоношенности. Курил он щурясь и, сделав затяжку, тут же убирал сигарету на расстояние вытянутой руки, чтобы дым не обжёг глаза.

Когда прокурор приблизился, охранник затушил сигарету и пустил пепел на ветер о колонну.

— Сегодня работаете?

— Работаем.

Прокурор ничего не говорил.

— Если я пришёл нести смерть: как вы будете защищать школу?

Вместо ответа охранник полез за новой сигаретой. Вдруг он с каким-то испугом понял, что нет с собою спичек: кончились, а несколько десятков, возможно отсыревших, лежали под ногами.

Он спросил растерянным взглядом, не будет ли у прокурора подкурить (это был так стар он в свои пятьдесят, что не задумаешься, курит ли он). Прокурор никогда не носил ни зажигалки, ни спичек, но из приличия ощупал себя.

— Нету.

У охранника пропало всякое желание общаться; он потупился и замолчал.

Прокурор вошёл в школу. Напротив входа высотная лестница, посередине первого этажа, разделяла два пути. Если пойти по правую сторону, можно наткнуться на спортзал, кабинет музыки и санчасть. Если пойти по левую, можно выйти к чёрному входу. Прокурор хотел было задуматься, куда лучше пойти, как внезапно забеспокоился, — на том самом месте, где приятельница нашла лишай, начался зуд: сперва он его не замечал, теперь же зуд накатил с такой силой, с какой он встречался в глубоком детстве при дерматите.

В миг школа стала ему безразлична, она пугала масштабом коридоров, нелюдностью, гулкостью. Он направился в санчасть.

Ему разрешили войти. Медсестра подняла голову и, следом, брови от удивления.

— Вы кто?

— Экскурсовод.

Он прочитал её немоту, усталую, пренебрежительную. Медсестра показательно встала и надела перчатки, а прокурор сел на кушетку. Здесь же его сердце точно пронзила стрела, он поднялся, застыл и покинул кабинет опрометью с видом человека, которому всё надоело.

По обе стороны улицы шли люди, в основном цыгане. Кожа их сливалась с оттенком пива, пальцы ломало, челюсти сводило. Они были злостно обижены на мир, не слушались мнений, пинали камни, не любили кошек — били их, смеялись над чёрным юмором. Чем-то они напоминали прокурору о проблеме чистоплотности приятельницы (он думал: немытые части тела у мужчины или зрелой женщины не так этичны, как у тридцати трёх летней). Затем он вышел к своему дому, проник внутрь, разделся, упал на кровать; на краю сидела приятельница, пожелавшая ему хорошего сна.

Он уснул с удручающими мыслями.

Наутро прокурор пошёл на кухню. Там находились две девушки, одна из них — приятельница, но вторую прокурор никогда не видел.

— Я позвала врача, чтобы она осмотрела лишай, — сказала приятельница. — Пока ты спал, я угостила гостью твоим кофеем.

Прокурор не хотел лечения. Ему казалось, что проблемы во всём мире не могут сузиться до лишая, язвочки на виске, и когда врач потянула руку, — прокурор отошёл; женщина как будто что-то поняла, села обратно поруганным ребёнком, улыбнулась приятельнице и выдала странную, неестественную пантомиму.

— Зачем ты это делаешь? Ты намеренно отказываешься от помощи.

— Я не хочу даже слушать об этом, — ответил прокурор и потрогал лишай. — Не позволю тебе ещё раз прикоснуться к уличному животному.

— Я всегда мыла руки.

Прокурор подошёл к столу и сжал врачу горло. Они смотрели друг на

друга, сон окончился, прокурор улыбнулся тому, что весь геморрой в виде женщин исчез.

Этим же утром он вышел из дому купить газету. С продавцом завязался диалог:

— Выпуск ограниченным тиражом.

— Почему?

— Дорогая бумага.

— Это газета?

— Это журнал. Он нужен одиноким мужчинам как дополнение к японским нонограммам.

— Вы говорите о каком-то порножурнале? — Прокурор обнаружил своё негодование.

Заместо ответа продавец раскрыл журнал. Прокурор взял, заинтересовался, но хмурил брови; скоро, не сказав ни слова, расплатился, спрятал журнал под одежду и пошёл домой.

Прокурор знал, что у него опухоль простаты, но ничего не мог поделать. Он всмотрелся в лицо открытого раздела, и ноги перестали чувствовать землю. На фотографии, огромной, с хорошим качеством съёмки, была Федорина, младшая родная сестра прокурора; она выпятила свою крохотную грудь и выгнула спину, смотря на фотографа. «Ей уже двадцать девять», — думал он. У него начал чесаться лишай, и он бросил журнал на стол, подбежал к телефону, одной рукой попытался найти пожелтевшую бумажку, которая досталась ему случайно от кредитной организации; попробовал набрать, однако номер не был действительным.

«Как она выросла у меня. И как же она стала… красивой, взрослой». Он перестал замечать наготу, только что-то хорошее, он защищался братской любовью и у него это получалось. С Федориной произошёл случай: она обманула прокурора перед злыми людьми и заставила его отдавать деньги как спекулянта; сама ситуация касалась амфетамина, который употребляла сестра в период прохождения актёрских пробников.

Должной злости или обиды на неё нет, ему даже приятно вспомнить её. Сестра переехала в Корею; он засветился изнутри от воспоминания, где его отец-битник покупает Федорине дискету с гаражным роком; она тогда целовала ему руки от счастья. И спустя двадцать с лишком лет эти дискеты хранятся на полочке в гостиной, в качестве декорации пустой комнаты.

Прокурор принял решение навестить Корею и Федорину соответственно, взять любимую дискету и вручить сестре при встрече, как следует поговорить, расспросить о проституции и настроении… Он даже замечтался. Возможно потому, что, в отличие от других женщин (и приятельницы), ощущал к Федорине привязанность. Она не была ему безразличной, и мысль что-то ей подарить, сделать приятно, напомнить о себе — вызывала радость, то есть чистую её ипостась.

Прослушав дискету один раз, он слёг с повышенной температурой. Лихорадка ломила его, всё тело было ватным и слабым, и ему снился страшный бред. Разразилась гудящая, пульсирующая головная боль; прокурор задирал шею так, чтобы ослабить мучение, ему казалось, что голова его движется на рельсах туда и назад, снимая напряжение; также он улыбался и тихо постанывал. В этот тяжёлый период, длившийся с вечера до утра, никто не пришёл ему на помощь.

Прокурор так увлёкся мыслями о Федорине, что не придал значения водянистому насморку на днях. Ещё он ничего не ел и не пил, у него перемешались воспоминания: то прокурор представлял, как навещает сестру, то воображал себя поедающим мягкий батон (что каким-то образом подавляло голод).

По пробуждению о Федорине забыл. «Эта тоже заболела, — подумал он о приятельнице. — Заразила меня». Как будто блоха перекинулась с кошки на собаку. Зато с болезнью он чувствовал себя просторнее, мозг нагревался до того, что допускал ошибки, и прокурору часто казались вещи находящимися не на своих места. Например, если вытеснить кислород из пакета, которым душат, бытует мнение, что во время этого случается какое-то голодание. Прокурор считал верным противоположное — насыщение человека углекислым газом.

Из носа побежала вода, прокурор схватил платок и громко высморкался. После обнаружил на нём кусочки гречневой каши, чем питался он перед простудой; крупа раздражала носоглотку. Теперь, когда он смог вдохнуть полной грудью, без паршивого чувства, захотелось улыбнуться, а вместе с лёгкостью на прокурора нахлынула любовь, и спокойная, не ревнивая, смиренная. Интересно, что появилась она не к Федорине, но к приятельнице, которая, как и он, сейчас болела.

Он оделся и, уже уходя, задержался у зеркала: по лицу размножались старческие трещины, не усталые, а такие, какие бывают у вдов. Со встревоженным видом он вдруг начал перерывать шкафчики в поисках универсальной мази, но у него же — ничего не было.

Прокурор прошёл знакомый путь и постучался. По дороге наступил в кошачье дерьмо; только стоя у порога квартиры он обнаружил эти следы, пристыдился, размазал по бетону, а за этим процессом двери открылись: стояла приятельница.

Она шмыгнула.

— Зараза к заразе не цепляется, — сказал прокурор.

На лице девушки неприязнь, свойственная к гостям. Там, где они обычно собирались, на кровати, лежал оголённый мужчина с прикованными руками. Он абсолютно не испугался появления прокурора — глаза у него были, по всем канонам, завязаны. Взгляд прокурора задержался на волосатых ногах, потом маленьком члене, шраме от аппендицита, глупой, отсталой улыбке.

Прокурор удивлённо посмотрел на приятельницу в дверном проходе, которая показала ему быть тихим и выйти из комнаты.

— Подожди меня, Юнги, — сказала она, закрывая за прокурором двери.

Они стояли на кухне.

— Ты больна?

— Это называется влечением к мужчинам.

— Ты муха; ты залетела через открытое окно, и ты — посторонняя. Но я не перестану любить человека потому, что муха на меня смотрит. — Она приобняла прокурора, посмотрела глубоко и чувственно: — Это такая форма доверия.

Он молчал, потом сказал:

— Ты связала его, чтобы он не сбежал?

— Да.

— То есть действительно?

— Да.

Прокурор ушёл, приятельница не обернулась, так и осталась стоять. Мужчина тем временем услышал чужой голос. Когда прокурор зашёл в комнату, пахнущую потом, лежащий не улыбался, а вслушивался, с умным видом, с плотно сжатыми губами.

Тут же прокурор перехотел и убежал из квартиры.

Он купил абсента и, поддатый, упал навзничь в большую бензиновую лужу. Пытался осмотреться, его смутило, он стал вымачивать свою ткань, грубо хватая её кулаком. Волосы были закинутыми за шею, но одна длинная седая прядь выбилась и попала в лужу. Когда силы понемногу принялись его покидать, перед ним появился Диоген.

— Матерь святая… — в ужасе сказал прокурор и привстал на колени.

Диоген держал в руках свечу. Тотчас прокурору стало страшно, что этот античный бросит источник огня в него — и он загорится, как грешная пыль, он вспыхнет краской. Но слева появилась Федорина, одетая в пышное голландское платье. Декольте обрамлялось рюшами, а ноги чёрными чулочками. Прокурор поднялся с трепетом, он вцепился в плечи сестры, будто видел её последний раз, и повалил в лужу. У Диогена он отнял свечу, но она внезапно капнула воском на палец и выпала.

Федорина лежала с задранным платьем, из-под сексуального белья сочилась тонкая струя воды. С каждой секундой прокурор боялся, что умрёт. Под свечой образовалась выемка воздуха.

Прокурор говорил:

— Прости, что я был так слеп, сестра; что не вмешивался в твои проблемы.

— И ты меня простите, Якоб, — сказала Федорина улыбаясь. — Я стала проституткой назло миру. Мне не так страшно, как ты думаешь обо мне: встреча с мужчиной теперь для меня не страдание, а работа; я привыкла к тому, что они некрасивы. А в глубине души разделяю вас на

хороших и плохих...

— Я говорил матери, чтобы она прекратила наставлять тебя. Я хотел…

Свеча упала, и бензин загорелся, но ни Федорины, ни Диогена не было. Был только зуд: мучительный, долгий, неравномерный, и прокурор задрал ногу, чтобы почесать висок, скривив лицо.

Март — апрель 2026 г.